



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

**ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ
“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ РОССИИ...”
ИНДЕКС: 26260.
ИНТЕРНЕТ: denlit.ru**

Не иссякнет душа, не утихнут молитвы
да не будет брат братом намеренно бит!
Посмотри: в шар земной
сколькой наших зарыто,
посмотри: пуля-дура и нас не щадит!

Двадцать первый наш век!

Наковал ты железный
нашей Родине русской
былиный хребет —
ни убить, ни взорвать,
ни сломать!
Бесполезно!
Ни в бетон закатать
этот бронезащитный
Кто свободен от веку,
тому про оковы,



Светлана
ЛЕОНТЬЕВА

Сколь ни сноси нас — мы на пьедестале!

кандалы и про цепи нужды нет пропеть!
Вот и слышится звук —

тот знакомый, кондовый,
вот и видится сцепка, слияние, крепь!
Сколько прадедов наших вдоль берега Волги
понастроило верных жилищ и церквей!
На три метра во глубь! Купола вдоль дороги!
Мы повязаны крепко историй всей.

Пережили мы столько эпох, потрясений,
кризис лет девяностых и нынешних лет.
Но запомни: одно есть, из многих, спасенье,
оберег от несчастий, исчадий и бед:
это то, чтоб едиными быть, как и прежде,
это чтоб друг за друга стоять нам горой!
Не продавать ни Западу — злему неведже,
не купиться за рубль, не увлечься игрой.
И чтоб заповедь знать —

этим совесть богата —
от Царьградской пушки в Сарову пустынь,
никогда воевать не пойти брат на брата,
не ударить, не плюнуть, не выдать!
Амины!

Царь-колокол. Императрица Анна
и белокрыл Архангельский собор.
История — велика, многогранна
и, кажется, глядит на нас в упор!
Она сама, где хочет, ставит точку
и воскицательный, где хочет, ставит знак!
...Царь-колокол был тяжёстью вколочен,
к земле притянут, важностью набряк.

О, красотой спастись бы в этом мире!
Но красота не приподъёмна в высь!
Ни на канатах, на двойном шарнире
звучанием, звеня, не вознесится!

Лишь величальную пропеть косматой глыбе,
где пояски канвою да листки.
Молчи, молчи! В наш век, где мега-кибер,
где мега-власть, где мега-дураки!

Ну что ж, довольно нам былых и битых,
голов достаточно, порубленных как встарь!
Молчи, молчи! Я не вчера убита
и не повешена, как твоё звонарь!

И нет во фресках, Житиях царёвых
простолюдинок, швей, избянных прях!
Всё — ровно. Всё — размерено до слова,
до мерной фразы, рдяных строк в мирах.

Но отчего мне вопреки столетиям,
сквозь хмарь, сквозь немоту погбших нот
всё чудится: звонарь взбегит по клетки
и красотою мир спасёт.
Вот-вот!

Задумавшийся Сфинкс
Приник к брегам Невы.
А Вы
Пройдёте мимо
Фасада, что чуть сник
К воде слегка, но зримо.
Прохожий носит мима
В лице своём. Черты
Эпохи нелюдимой

Задумавшийся Сфинкс

Скрываются в конце
Двора, но это ты
В имперском подлеще
Давно узнал, а здесь
Нева неотразима,
И есть
Минувшее в камнях,
Строениях и фасадах,
И мне в базарных днях
Порой совсем не надо
От улиц Петрограда
Историй, кроме той,
С музейною оградой
Вдоль камня мостовой...

Покolenья, отбывшие ради дров,
Покolenья,
отбывшие подле печки
Срок земной,
что всегда молчалив, суров.
Человечье

Век за веком сводил
к кошельку и двору
Этот "добрый и праведный",
проклятый Ницше.
Сколько жизней и душ
отходило вору!

А вот лишний
Оставалась лишь та,
что от Бога не шла,
От науки ль разящей,
от строгого знания.

Я не знаю,
когда этот мир обветшал —
Он с рождения, возможно,
был ветрен и шал
В этих званьях.

В этих дачах, квартирах,
парковках у клумб,
Но однажды
в грозящее тёмное море
Бросит мачты свои
славный храбрый Колумб
И убьёт всех индейцев горем...

Я писал себя в эти стихи —
Я навеки среди них прописан.
От кого-то они далеки,
Кто-то к ним припадает, длится.

И когда к ним подступили ты,
Сидя возле притихшей ночи,
Тихо скажут мои листы,
Что я Словом был
уполномочен...

Человек, виноватый в себе,
В чуждой речи, в душе,
в улыбке,

Ты чья любовь, скажи,
нижегородский кремль,
поэтов ли, певцов ли, музыкантов?
Ты столько повидал — царей, ветров, земель,
ты столько слышал — бездарей, талантов.

В твоих темницах был: разбойник, вор,
в твоих палатах: вождь и воевода.
И клад зарыт у Дятловых был гор,
библиотека княжьего прихода.

Как оценить твой подвиг? Говорят,
что кровь и пот вобрал багряный камень.
Русь, на кресте распятая стократ, —
тобой жива, как памятью, веками!

Но снова клич раздается — высший глас,
спасти не просто область, всю планету!

Сердца особенно заточены у нас
и оттого: сын за отца — к ответу!

Жестокий век — его хребет пролёт
по нашим спинам трепетно и яро!
Кто ляжет нынче в башню поперёк,
скажи, чьё тело вмуровать пристало?

Не просто в кладку древнего кремля,
не просто, чтобы замешать основу,
а в жёлтый брус оси, где вся земля
вращается, измеренная словом!

Вот выкован клинок и возведён
на сто пространств
твой жаркокрылый терем!

Нижегородский кремль, дождём студён,
готов сражаться с ворогом и зверем!
Но лишь одно, как сердце из груди,
что призвано присягою солдата,
ты своего не выдай, не суди,
ты не пойдёшь войною брат на брата!

Пересаживают сердца...

Как зажжётся. Как запыхается.
Ты на этом свете ли, на том?
Пересадка сердца. Жизнь — вторая,
запасная, как аэродром!
Вот она — игра, как в детстве в прятки,
вот оно — крылатое моё,
улетело в пытки. Пересадка,
как растение, на другую грядку
беспощадно, где полынь, репёшь...

Хоть бы мне оставил половину,
четвертинку, капельку, просвет,
Соловья-разбойника, калину
или про дубинushку куплет.
Ничего! В тебе — средоточенье!
Все моря, все тверди, дым и смог!
Речь была, осталось изречение,
не ступить, и вовсе нет дорог!

Неужели мне послали строфы,
я молилась им усердно так —
избежать чтоб автокатастрофы...
Поздно. Поздно.

Просто рядом лял!
Подержи ещё мне немного
на руках, мой милый, у груди,
доцелуй, донезь, доплачь, дотрогай,
долобуй!

Я не знала, что так можно вольно
в чью-то жизнь, как в журавлиный звон,
корневище вскинув хлебосольно,
втечь, внедриться, будто в чернозём!

В занесённой упрямой руке
Над строкою иль над ошибкой.
Человек, обвинённый в себе,
На листе предаётся строкам,
Пренаётся в Тебе, и в судьбе
Ненароком...

Ветер лишает.
В лае

Слушен прибрежный крик.
В соснах прилив
Играет
Ветра, что не отвык
В небо стучать.
Залив,

Где мы застали город,
Где запела жизнь
Волнами в шторм, мажором
Рвалась на этажи,
Ветром морским с залива,
Грива
Гребней морских
Былась о ночь красиво.
Я на минуту стих.

Слушал, как пишет море
Волнами, словно горе,
Своей неумолчный стих...
Слушал, как пишет море
Волнами, словно горе,
Своей неумолчный стих...

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Солнце топил снег,
и вытает лето прошлое
Облетевшей и грязной
упавшей листвою,
Что была прошлой осенью
лету брошена
Рыжим саваном заупокой.

Но ты, непутёвое, старайся
быть смиренной, ласковой, умней,
сердце моё — лёгкий стукот вальса,
мелкий цветок, порхающий в огне!

Мы выжили не только в девяностые!
Как наши души силой не ломали,
Кончину Света пережили просто мы,
назло календарям древнейшим Мая.
В двух тысяча четырнадцатом выжили,
растёртые в песок фашистским танком.
Так отдерите нас от зданий выжженных,
хоть выверните факты наизнанку!
Мы выживем и впредь! Так, нас крестивший
Владимир — Красно солнышко, владыка,
тем самым стол навеки проложивший,
мы — вне времён отныне поелику!

По Красному мосту, по семцветью
туда-сюда мы ходим с тускками.
Потопу и пожару, лихолетью
мы — вопреки тому, кто бросил камень!

Пустынно место, если выдрать с корнем
нас — москалёво семья! Жарче, крепче,
добрей людей, прекрасней,
непokoрней не сыщёт в мире Иоанн Предтеча!
Надрезут сердце — заживает за ночь!
Мы пережили все свои невзгоды,
ветрами поисключенные напрочь
да под таким высоким небосводом!
Есть крепость в нас иного измерения,
есть святость в нас, что высотой кличут.
Перлетум-мобиле завидует терпению:
в нас Божий промысел

общественный и личный!

Русские мыслят объёмно, глобально.
Что нам песчинка? Что хлебная крошка
та, что в кармане на фартуке сальном?
Если весь мир держим мы на ладошке!

Гром среди ясного неба — все думы!
Родину,

сердце оттапав, не сузишь!
Семь океанов под боком угрюмых —
ноша не таяет своя, не обуза!
"Тихо, идёт репетиция!" — Что вы!
Эта табличка для тех — слабонервных...
Нет, мы замешаны грубо, кондово,
каждый в рубашке рождённому был первым!

Мы, как дорога — хребет выпирает
между полями, лесами, равниной!
Мы — первопут, тропинка, что с краю
горькою пахнет кровавой рябиной.

Мимо Европы спешим проржавелой
грузовичком, чьи истёрты колёса,
тряской, в колдобинах, в глине дебелой,
пешим да конным, лихим, безголовым!

Не отодрать нас уже от асфальта
Гитлеру, Геббельсу, злему Бандере,
с неба не снять, мы налипли повально,
мы — это совести светлая мера!
Сколько бы в нас ни стреляли ракеты,
сколько бы танки нас ни растапливали,
мы — это свет, что родится от света!
Сколь ни сноси нас, мы — на пьедестале!

Нам же — раз плечи — как Феникс из пепла,
чтоб возродиться, привычное дело!
Мы — это Крепость, чья крепь не померкла,
общевселенского духа и тела!

Мы только жили подле,
возле лет,
Где это Солнце,
и страна, и дали,
Среди которых нас
для встречных нет.

Обезболь меня музыкой!
Я прямо рок-н-ролл:
Джими Хендрикс, "Аквариум",
Джоплин.
И тогда в жизнь приходит
тот вечный покой,
За которым все улицы воплями
Затихают, стихают,
и ругаются в тишь.
И не слышно ни дня, ни ночи.
Но когда в этой музыке
Ты молчишь,
Мне не очень, Господи,
не очень...

Я вкладывал в утро.
Я внёс в него лепту.
И Клэптон
Напел рассказ
С пластинки,
которой припал я к лету,
Которого в блюзе след
Остался.
Привал сей
Для лета, для Солнца, тепла
Был в этой музыке.
Я не сдался
И врал себе, что ты была...

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Солнце в шторах колышется.
Шумный шорох и шелест
Шепотком перешёл,
зашумел, стусевал
Всех шмелей, что засохли
в том лете, как в щели
Подоконной,
в которой январь бушевал.

Иосиф Бродский — русский и американский поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Был ли он христианином? Об этом митрополит Иларион рассуждает с литературоведом Павлом Спиваковским.

Митрополит Иларион: Не так давно в "Независимой газете" мне попалась статья Владимира Бондаренко о религиозности Бродского.



В ней автор доказывал, что Бродский был крепённым и верующим. Приводились цитаты из

Слушать сердцем

его стихов, некоторые довольно пронзительные. В частности, автор говорил о том, что Бродский почти на каждое Рождество писал стихи, посвящённые этому празднику.

У Бродского есть стихотворения, посвящённые и другим церковным праздникам, например, "Сретение", которое, на мой взгляд, можно назвать "иконной в звуке", потому что поэт сознательно использует символический, как бы иконописный, язык и представляет очень яркие образы.

Павел Спиваковский: Действительно, сходство с иконой очень важно. "Светильник светил, и тропа расширялась" — это обратная перспектива, бесспорно. Но насчет религиозности Бродского, мне кажется, Владимир Бондаренко сильно преувеличивает. Бродский был агностиком и, скорее, веры он не имел. Например, в статье о "Новогоднем" Марины Цветаевой" он говорит о лингвистической реальности того света, то есть тот свет в его представлении — реальность сугубо языковая, воображаемая, художественная. Или в беседе с Соломоном Волковым о своём раннем стихотворении "Закричат, захлопочут петухи" он говорил, что начало стихотворения довольно слабое, слишком много ненужного экспрессионизма, а конец хороший, более или менее подлинная метафизика.

Метафизика для Бродского оказывается критерием художественного качества. Буквальная веры у него нет. Он — агностик, тяготеющий к позитивистской картине мира. Это сугубо материальный мир, где ничто мистическое как реальное не предполагается. Смерть, по Бродскому, — это абсолютное уничтожение, безсходный ужас. Такому представлению можно сопоставить 14 симфонию Шостаковича: генеральное выражение ужаса перед смертью и абсолютной безсуществом.

Митрополит Иларион: Мне очень близко это сопоставление, потому что я по первой своей профессии музыкант, и в свое время, в юности, когда мне было 17 лет, 14 симфония Шостаковича оказалась на меня очень сильное воздействие. На мой взгляд, понятие религиозности применительно к поэтам, композиторам всё-таки должно трактоваться особым образом, то есть, если, например, оценивать таких людей как Бродский или Шостакович с точки зрения ходили ли они в церковь, причащались ли и исповедовались, то, конечно, в таком понимании они не были религиозными людьми. Но ведь религиозное начало проявляется в человеке по-разному: прежде всего, как он реагирует на окружающий мир, на какие-то сигналы, которые ему посылает Бог. Я думаю, что у Шостаковича, даже если он не был, скажем, практикующим христианином, была очень чуткая в религиозном отношении душа.

Если говорить о наших поэтах XX века, таких как Пастернак, Ахматова, то Ахматова, конечно, была верующим, церковным человеком, а о Пастернаке этого сказать нельзя. О Бродском — тем более. Тем не менее, у Пастернака есть очень глубокие и пронзительные стихи, в которых идёт речь о Боге, об Иисусе Христе, Его деяниях, о временах и событиях, описанных в Библии. Они посвящены, в частности, Великой Пятице, Великой Субботе, Страстям Христовым, Пасхе. Основная часть таких стихов содержится в романе Бориса Леонидовича "Доктор Живаго".

Думаю, что и в поэзии Бродского есть много глубоких религиозных прозрений. Не такая уж она безсходная, как вы говорите.

Павел Спиваковский: Я бы не поставил Бродского в один ряд с Пастернаком. Пастернак в моём понимании всё-таки поэт верующий, а религиозность Бродского я бы сравнил с религиозностью Чехова, который писал, что на всякого интеллигентного верующего он полагается с изумлением. Чехов растерял свою детскую веру, но при этом он с удовольствием изображает верующих людей, например, в том же "Студенте", и как бы примеривает на себя, что было бы, имея он такую же веру. Аналогично я бы сказал и о Бродском: ему интересно представить то, что было бы, не будь он убеждённым в том, что ничего нет.

Митрополит Иларион: Не могу не отреагировать на сказанное вами о Чехове, хотя мы говорим о русской поэзии XX века. Мне кажется, Чехов представляет собой очень интересный пример человека, в котором, при отсутствии формальной, внешней религиозности, до конца дней остаётся религиозность внутренняя.

Хотел бы обратить внимание на повесть "Степь", где удивительным языком в трогательных образах изображена русская действительность, жизнь маленького мальчика, которого отправляют в школу. Там прекрасно выведен образ священника. Но и, конечно, рассказ "Архиерей", написанный автором где-то за полтора года до смерти, когда Чехов уже тяжело болел и предчувствовал свою кончину. Он удивительно глубоко сумел проникнуть в этот внутренний мир русского архиерея, показать Церковь изнутри, донести её атмосферу. Я думаю, что это редко кому удавалось.

Подобное мы можем сказать и о многих наших поэтах, которые если и не были религиозными в формальном смысле, то в своей поэзии ощущали те отзвуки Неба, которые поэзия, собственно, и делают поэзией.

В своё время мне было очень интересно познакомиться с одним из ранних стихотворений Бродского "Большая элегия Джону Донну". У нас, наверное, мало кто знает этого английского поэта XVII века, который был ещё и священником, и проповедником. Известна одна из его проповедей, содержащая такие слова: "Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе. Каждый человек — часть Материка, часть Суши <...> Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я один со всем Человечеством, а потому..." — а дальше те слова, которые знает весь мир, благодаря Хемингуэю, — "не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе". Эти слова стали эпиграфом к роману Хемингуэя

эя. Джон Донн, как мне кажется, оказал влияние на поэзию Бродского, ибо "Большая элегия" создаёт очень глубокий, интересный и, я бы сказал, интимный образ верующего человека и окружающей его обстановки.

Павел Спиваковский: Действительно, стихотворение "Большая элегия" — удивительно. В нём вера Джона Донна воссоздана с большой силой и одновременно нам тоска, идущая от автора, что он сам не имеет такой веры. Он, может быть, и хотел бы такого, но его представление о реальности совсем другие. И реальность в представлении Бродского очень страшная. У него много стихотворений о смерти как абсолютном уничтожении и абсолютной безсуществом. Например, достаточно вспомнить балладу "Холмы". Из более позднего "Только пепел знает, что значит согреть дотла". От человека на телесном уровне остаётся только то, что Бродский называет "свобода от целого: апофеоз частиц", но в духовном плане остаётся и нечто другое — душа, духовное начало. Бродский с удовольствием готов об этом писать, но для него это, всё же, условность, к которой он очень привязан.

Я хотел бы прочитать одно стихотворение

**Родила тебя в пустыне
я не зря.
Потому что нет в помине
в ней царя.
В ней искать тебя напрасно.
В ней зимой
стужи больше, чем пространства
в ней самой.
У одних — иерушки, мячик,
дом высок.
У тебя для игр ребячьих —
весь песок.
Привикай, сынок, к пустыне
как к судьбе.
Где б ты ни был, жить отныне
в ней тебе.
Я тебя кормила грудью.
А она
приучила взгляд к безлюдью,
им полна.
Той звезде — на расстоянии
страшно — в ней
твоего чела сиянье,
знать, видней.
Привикай, сынок, к пустыне,
под ногой,
окромя неё, твердыни
нет другой.
В ней судьба открыта взору.
За версту
в ней легко признаешь гору
по кресту.
Не людские, знать, в ней тропы!
Велика
она, безлюдна, чтобы
шли века.
Привикай, сынок, к пустыне,
как цепоть
к ветру, чувствуя, что ты не
только плоть.
Привикай жить с этой тайной:
чувства те
пригодятся, знать, в бескрайней
пустоте...**

Удивительное стихотворение. И сразу бросаются в глаза немалые странности: расстояние измеряется верстами. Далее смотрим — "окромя", "цепоть", "не хуже" — простонародные выражения; "стужа" больше, чем "пространства". Я говорил с одним иконописцем, который долго жил на Святой Земле. Он рассказывал, что в тех краях минимальная температура зимой плюс десять. Трудно назвать стужей, согласитесь.

Напрашивается представление, что перед нами некий образ русской Богородицы. Поэтому расстояние измеряют верстами — это как бы такая Святая Земля сквозь сугубо российский оптику, Новозаветная история глазами россиянина. Отсюда и другая психология. Во-вторых, у читателя создается ощущение чрезвычайной значительности происходящего и одновременно холода, оцепенения. Почему? Потому что Христос здесь трактуется как существо, инородное людям. Он в пустыне должен быть всегда: где б ты ни был, всё равно в пустыне. Евангельский Христос, конечно, не такой: Он идёт к людям и Он отню